

Дайна Шмудере-Геркис

Я не могу это забыть...

13 июня 1941 года был последним днем нашего безоблачного детства. Вокруг июньское цветение и много, много солнца. Синее небо, тишина и чувство защищенности. То, что последовало за этим днем, было в таком контрасте с привычной для нас жизнью, что последний счастливый день в моей памяти, как нарисованный, жив и сейчас. Я слышу ту тишину и покой, я чувствую запахи этого дня, я чувствую тепло солнца на коже.

Жизнь наша жестоко разрублена на две части - до 14 июня и после него. Детство для меня осталось за чертой, наступили заботы о завтрашнем дне, голод, холод, потеря самых дорогих для меня людей.

Тяжело все это вспоминать, тем более невозможно забыть. И говорить об этом можно не с каждым. Не перед всяким можно раскрыть эту незаживающую рану.

Страшно то, что кто-то своим непониманием, своей бессердечностью или равнодушием может оскорбить память загубленных...

В этот день мама возилась с годовалым братиком, когда раздался у двери звонок. Я пошла открыть. Через окно я увидела стоящих у дверей незнакомых людей с винтовками. Винтовки были с примкнутыми штыками. Зайдя в комнату, они приказали вызвать по телефону с работы отца, но предупредили, что разговор должен вестись по-русски. Два часа дали на сборы, с собой разрешили брать столько, сколько сами сможем унести. Когда мама перевела нам приказ, я заплакала. Мужчины, приехавшие за нами, были пожилые, и, наверно у них самих были дети. Один из них мне сказал: «Не плачь, девочка».

Мама постелила на пол одеяло и стала собирать на нем вещи. Туда же положила двенадцать килограмм сахара, приготовленного для варенья и кулек с сухарями из белого хлеба. Наверное, благодаря сахару и сухарям выжил наш годовалый братик. Я стояла у плиты и следила, чтобы не убежало молоко в большом чайнике, предназначенное для малыша - мама думала о нем, ведь 24 мая ему исполнился годик, а в апреле он перенес операцию грыжи. После больницы он был еще слаб и не ходил.

Приехал с работы отец. Стражники разрешили нам взять с собой шесть тюков, завернутых в одеяло. Очень многие, которых отправляли в этот дальний путь, имели с собой маленькие чемоданчики. В спешке и растерянности порой прихватили с собой менее нужные вещи, а то, что было крайне необходимо, осталось дома.

Старшего брата, после окончания учебного года, родители отправили на хутор к дяде, чтобы он там приучался к труду. Мама до конца своей жизни переживала, что пятнадцатилетнего брата могли арестовать вместе с родственниками, и он был бы для них обузой. Приехавшие за нами чекисты записали адрес брата и обещали его доставить к нам в вагон. Но, слава Богу, они свое обещание не выполнили. Ребята его возраста, так же как малыши и старики не выдержали условий Васюгана и умерли от голода. Тогда мама этого не знала и очень хотела, чтобы мы все были вместе. Судьба же распорядилась иначе, разбросав нас всех шестерых.

Сидя в кузове грузовой машины, я смотрела на наш дом и думала, что, наверно, вижу его в последний раз. Это казалось невозможным и ужасным. Я кричала и плакала. Страшное чувство безысходности обрушилось на меня. Мы, дети - я в неполных двенадцать лет, сестра в неполных девять, годовалый братик - стали арестантами, врагами народа.

Я была маленькой, худенькой девочкой, страдала малокровием, у меня были больны легкие, по вечерам всегда повышалась температура. У меня не было аппетита. Родители по этому поводу говорили, что я живу от любви родительской и свежего воздуха. Потом, уже в Сибири, оказалось, что я легче других переносила голод и в нашей семье оказалась самой выносливой. Перемена климата, по-видимому, оказала

благоприятное воздействие на мои легкие и я не только не заболела туберкулезом, но пропали даже все признаки болезни.

Когда, на товарной станции «Шкиротава» нас подвезли к красным товарным вагонам, я увидела за зарешеченными окнами лица многих людей. На меня опять напала истерика, мне казалось, что в вагоне нагнано столько людей, что все они стоят, прижавшись, друг к другу. Вагонная дверь была заперта на замок. Когда замок открыли, металлический засов со страшным шумом упал. Нас затолкали в вагон, с таким же жутким шумом закрылась дверь. Я всю жизнь помню то чувство, которое возникает, когда за тобой с грохотом закрывается железная дверь. Ты под замком. Нам, детям, больше не дано видеть небо, видеть солнце, деревья, прыгать, бегать. Нам больше не дано делать то, что положено детям, всем детям мира. Мы обреченные, мы вне мира, мы во власти ЕГО. Мы арестованы по чьей-то чужой, жестокой, несправедливой воле. У нас отнято детство. Мы бесправны.

Когда глаза привыкли к полумраку, который царил в вагоне, мы увидели полки. Верхние были уже заняты, наша семья расположилась на относительно свободной нижней полке. У противоположной стенки вагона была построена наклонная труба из четырех досок, служившая уборной. Того же дня вечером по фамилии вызвали мужчин и куда-то увезли. Нам сказали, что это делается для удобства и в конце пути они вернуться. Это была ложь. Мужья наших мам, наши отцы почти все погибли – кого расстреляли, а остальные не выдержали лагерных условий.

Я знаю, сколько мой народ натерпелся от немецких баронов, мы были заслоном Советскому Союзу от фашистов. А нас называли «пятой колонной». Эта несправедливость потом и породила нынешние непростые настроения. Мой народ, как мелкое зернышко, веками находился между жерновами. А мы всего-навсего хотим жить и работать у себя дома, хотим говорить на родном языке. Разве это так много? Разве это преступление?

Эшелон отправился в путь 15 июня после обеда. Мама у кого-то выпросила клочок бумаги, написала записку старшему брату и выбросила из вагона. Потом оказалось, что брат эту записку получил. Человек, нашедший ее, вложил записку в конверт и отправил по указанному адресу.

Эшелон следовал на восток. На больших станциях, обычно ночью, поезд отстаивался на отдаленных путях и старшие вагонов, из числа арестованных, с ведрами ходили за водой и щами. Матери будили детишек и в темноте старались покормить горячей пищей. По путям передвигались составы и гудки паровозов жалобно и тревожно раздавались в ночной тишине. Еще до сих пор ночные паровозные гудки мне кажутся жуткими.

Хлеба нам давали достаточно. Взрослые на очень редких остановках пытались выменять хлеб на молоко, однако охрана грозилась стрелять, если кто-то попытается приблизиться к вагонам. А нас предупреждали, что если хлеб у нас лишний, то норму можно уменьшить.

В пути нам стало известно, что началась война. Теперь нас везли почти без остановок, по-видимому, нужны были вагоны. Где-то за Уралом нас впервые выпустили из вагонов у воды. Там было ужасно грязно – наверное, до нас там останавливались впереди идущие эшелоны. Выйдя из вагона, я обнаружила, что не умею бегать – от неподвижности атрофировались ноги.

В Новосибирске эшелон подогнали близко к реке и нас перегрузили на баржу. Мама взяла первый тюк, с ней шла сестренка и несла братика. Я осталась с вещами. Потом мама вернулась за следующим тюком. С последними тюками мы с мамой отправились на баржу, я несла самый легкий.

Хотя было начало июня, уровень воды в реке был высокий. Вокруг виднелась только вода, где-то из воды торчали кусты. Баржа еле передвигалась.

Кроме нас, латышей, тут были и эстонцы. Я прислушалась к непонятному мне языку, и он мне казался очень звонким.

На барже были размещены люди с нескольких эшелонов, а было всего две уборные, которые висели над водой, а под ними кипела вода могучей Оби. У этих двух будочек выстраивались длинные очереди женщин и детей. Начались болезни, появились первые умершие. Их отбирали у близких и выбрасывали в воду. Люди плакали и кричали. Из нашего вагона в пути на барже никто не умер – это нас ожидало в близком будущем.

Постепенно стали людей высаживать на берег. Но очередь нашего вагона еще не подошла – нас везли дальше. С Оби баржа свернула на реку Васюган. Знаменитые Васюганские болота вскоре стали нашим новым домом. Нас высадили в Тевризе. Через пару дней нас, человек пятьдесят, на плоту отправили в деревню Мало-Муромка. Местными жителями были сосланные в 1931 году «кулаки», которых высадили в тайге. Выжило их мало, но к нашему приезду у них были избы, огороды, и объединились они в захудалый колхоз. Урожай в колхозе был слабый, не хватало на то, чтобы сдать государству поставки. Колхозникам практически не оставалось ничего. Жили они со своих ста ведер картошки, которые вырастили на огородах. Рядовой колхозник хлеба не получал.

Нас разместили по хатам, не спрашивая согласия хозяев. Мы жили у Сапожниковых. К нашей хозяйке часто заходил наш ровесник одноглазый мальчик Маркелка. Мама по приезде сушила в печке на дороге сэкономленный хлеб. Маркелка принюхивался и говорил: – «Как хорошо хлебом пахнет, а я уже забыл этот запах». Мама дала ему хлеб.

Работы другой, кроме колхозной, там не было, так что все мы стали колхозниками. В деревне было примерно пятьдесят дворов. Скоро после нас в Мало-Муромку привезли людей из Черновиц. У них мужчины были вместе с семьями. Когда их высаживали на берег, местное население с криками «буржуев привезли» бежало их встречать. Когда всех разместили – мало осталось дворов, где не было нашего брата. Трудно мне сейчас судить о том, сколько было нас переселенных всего, но ясно то, что наше присутствие очень повлияло на уже и бедный колхоз и, конечно, и на нашу дальнейшую жизнь. Шла война, и повсюду было трудно с питанием. Недаром, когда мы, маломуромские, оставшиеся в живых, делимся своими воспоминаниями с переселенцами с других мест, то оказывается, что наше положение было самым плачевным. И весь Васюганский район в смысле обеспеченности был очень плохим.

Местное население к нам, в основном, относилось вполне сносно. По-видимому, оно не очень верило в нашу виновность – по себе знали. Конечно, я могу ошибиться, я ведь вначале русского языка не знала, а мама у нас была очень добрая и терпеливая – она никогда и ни с кем не конфликтовала, так что по интонации ее голоса о каких-либо обидах я могла и не догадываться. Когда мама разговаривала с местными жителями, я всегда спрашивала: – «Что они говорят? Что ты сказала?» Мама мне отвечала: – «Учись по-русски и поймешь».

Первые наши подруги там были Поля Ивасенкина – девочка чуть старше меня, и дети местного кузнеца Снегирева.

Поля жила в своем доме одна, ее родители и брат были рыбаками и редко появлялись дома. Поля меня звала помогать пилить дрова и копать картошку. Она терпеливо учила меня овладевать искусством пилить. Не могу утверждать, что это правда, но наша хозяйка Сапожничиха рассказывала, что когда их высадили в тайгу, и был страшный голод, якобы, родители Поли сговорились, что наутро девочку убьют и съедят, но старший брат Поли слышал этот разговор и ночью сестренку увел в тайгу. Утром, когда детей не оказалось дома и пришлось их долго искать, родители отказались от своей затеи.

Наша хозяйка была вдова. Старший сын Илья был женат на дочери Жигановых и жил у них. Хозяйку нашу назвать доброй трудно, а ее дочь Фаня была доброй, приветливой и красивой. Младший же сын Васька все время грубил и скандалил.

Фаня считалась богатой невестой, она до войны служила в Тевризе у коменданта в нянях, и у нее был полный сундук приданного. Там были и розовые, и голубые сатиновые платья, которые она, правда, не носила, а берегла. Но теплой одежды и обуви у нее не было. В следующую зиму, работая на пихтовом заводе, Фаня простудилась и заболела. Через несколько месяцев она умерла в возрасте 19 лет.

В начале войны мужчин нашей деревни на фронт не брали – как раскулаченные они считались неблагонадежными. Во вторую зиму войны обоих сыновей хозяйки призвали в армию и с фронта они не вернулись.

Местные жители, в основном, жили очень бедно. Несмотря на то, что они очень нуждались в одежде, они не имели лишних продуктов, чтобы обменять их на вещи. Это отрицательно сказалось на нашем положении. Если даже у нас было, что менять, то трудно было бы получить что-то взамен.

Взрослые стали работать в колхозе: готовили силос, убирали лен, копали картошку, работали на току. Мама часто брала меня с собой.

Зимой наши остались без работы. Мама просила работу, но ее не было, изредка что-нибудь предлагал наш бригадир Геннадий – мама ходила на скотный двор, где клали печку, она подавала кирпичи. Потом вязала рыбакам сети. Я тоже научилась этому ремеслу.

Когда я читала рассказ В. Шукшина о том, как он с матерью ходил по дрова, мне казалось, что это написано о нас, с той лишь разницей, что мы потом не делали пельмени. Я ужасно мерзла – наша одежда не была приспособлена к климатическим условиям Сибири, особенно обувь. Я хныкала, что мерзну, а мама на это отвечала словами народной песни – голод учит работать, а холод учит бегать.

Когда кончился год, мы за свои пятьдесят шесть трудодней получили два килограмма гороховой муки. За связанные сети несколько раз нам дали хлопковый или льняной жмых. Льняной казался очень вкусным!

Когда удавалось что-нибудь продать-обменять, мы были очень счастливы. У нас не было посуды, кроме нашего большого чайника, в котором, когда нас выгнали из дома, мы взяли братику молоко. За шерстяное одеяло выменяли эмалированную кастрюльку с отломанной ручкой и пол-литровую кружку. За простыню, как за золотое обручальное кольцо, давали два ведра картошки. Щи варили из соленой картофельной ботвы и речной водицы. По утрам нам мама велела долго спать, чтобы мы не просили есть. Когда мы просыпались, она терла три картошки, заливала кипятком и следила, чтобы мы эту затируху пили медленно. Покупали сушеную картофельную кожуру, из которой на раскаленной плите пекли лепешки. Из чешуи рыбной, если удавалось ее где-то выменять, варили холодец. Если была соль и еще чеснок, то это казалось королевским блюдом. Если доставали рыбные кости, то их сушили, растирали и приправляли суп. Чаще всего вместо соли употребляли рыбный рассол. Мы ели горькие рыбные внутренности, которые оставались после снятия рыбного жира. Поначалу нам, новому контингенту, давали хлеб – взрослым по 500 грамм, иждивенцам – по 300 грамм, но постепенно норму урезали до 150 и 100 граммов. Сейчас не помню, когда хлеб перестали давать совсем, но помню, что когда начали расти «пестики», хлеба уже не было.

Пестики мы собирали по только что оттаявшему полю – переживали, что их нет, а когда находили, то не было силы за ними нагнуться. Мама от голода опухла, иногда теряла сознание. Весной 1942 года я была настолько слаба, что, поднимаясь в гору с водой, оглядывалась назад – казалось, что к ногам привязаны камни, не было силы их переставлять. Чтобы заработать хоть одну картошку, нанимались любому искать вшей в волосах.

Однажды ночью мама нас разбудила и сказала, чтобы мы простились с братиком. Ему было так плохо, что мама не надеялась, что он доживет до утра. Но он выжил. Мама в первую зиму продала купленные в Тевризе черные ботиночки и пальтишко, наверное, уже не надеясь, что братик доживет до весны.

С дровами было очень туго. Лес был не так близко, привезти их не на чем. Не было у нас ни пилы, ни топора. Всегда эти орудия труда приходилось просить. Потом и сил больше не было, чтобы заготовить дрова.

Мы старались вытащить из-под снега, вмерзшие с корнями выкорчеванные березки, и тащили их по снегу домой. Мама этот хворост рубила и когда хозяйка кончала топить, подкладывала в печку и варила нашу баланду. Мы часто вспоминали дрова, которые за несколько дней до 14 июня 1941 года были куплены и остались лежать посреди двора нашего в Риге. Мама вспоминала и деньги, которые были потрачены при покупке этих дров. Кто грелся тогда у той печки, в которой горели наши дрова?

К тому времени многие из наших переселенцев были уже похоронены на Маломуромском кладбище. Буквально через несколько дней после нашего приезда умерла четырнадцатилетняя Элга Лемберга. Умерла Андрис Генгерис, Ирена Ладзиня, оставшаяся в Тевризе Арманда Кисе. Они все были 1940 года рождения. Живым из всех малышей остался только наш братик Айвис. У Кривошапкиных умерла мама и брат Володя. В черырехдетной семье Карклыни от голода умер десятилетний Оярс. Его хоронили летом 1942 года. Мама нам велела набрать таких цветов, какие растут у нас в Латвии. Я набрала полевые цветочки и вдруг обнаружила, что здешние цветы не пахнут. Ояру могилку вырыли заранее, а когда мальчика без гроба опускали в могилу, там была вода и сидела жаба.

Потом, когда мы уже были в детском доме, мама Ояра, Аида Карклыня, делала все, чтобы попасть в тюрьму, ради того, чтобы спасти детей, которых отправят в детский дом, и саму чем-то будут кормить. Она этого добилась. Двух младших детей отправили в детский дом, а старшую – пятнадцатилетнюю Риту оставили работать в колхозе. Как Рита выжила – известно только Богу. Девочка, голодная и раздетая, работала на работах, которые под силу только мужчинам. Она и замерзала, и тонула, но выжила. В 1946 году дети Карклыни вернулись домой.

От голода спаслись Лиллия Мейя с сыновьями, согласившаяся переехать в деревню Седельниково. Там ее младший сын (семнадцати лет), участвуя в сборе кедровых орехов для государства, заблудился в тайге. Он долго блуждал, пока вышел к реке. Связал плот и на нем пустился по течению. Рыбаки его нашли еле живым и отправили к матери, но было поздно – он умер.

Умерла пожилая женщина Аделина Мелцере. Я всех уже не помню...

Весной надо было сажать картофель, но не было сил, вскопать землю и не было семян. Мама договорилась с Рязановыми, что я помогу им вскопать огород. За день работы платили ведро картошки. У мамы самой не было сил это делать. Я для такой работы, совсем обессилившая, тоже не годилась, но мама надеялась, что меня, как ребенка, пожалеют и не прогонят. Лопата казалась такой тяжелой и, конечно, только из-за милосердия меня не прогнали – накормили и дали еще полведра картошки.

Вскопали мы клочок земли из последних сил. Сегодня еще помню, как внутренне я сопротивлялась тому, чтобы так трудно заработанную картошку зарыть в землю. Ведь не было гарантии тому, что мы доживем до того, когда картофель вырастит. Мы все ели только траву, в том числе, и наш маленький братик. Когда картошка взошла, однажды ночью колхозные быки вытоптали наш огород и ничего там не выросло. Денег у наших было столько, сколько у каждого было дома на момент ареста. За работу нам не платили, хотя и за деньги купить ничего нельзя было, кроме как выкупить хлебный паек. Зато налоги мы должны были платить. Не помню, что это были за налоги, наверное, военный заем.

Из Новосибирска по деревням ездили представители комиссионных магазинов. За вещи они нам выдавали справки, которые вместо денег покрывали налоги. У нас были кое-какие вещи, и мама могла эти налоги уплатить, но у многих не было такой возможности. За это их награждали руганью и угрожали арестом за вредительство.

Летом, когда поспела голубика и стали появляться грибы, дети должны были их собирать и сдавать в сельпо. Взамен опять стали давать хлеб. Я ходила в Пеноровку и там, в болоте каждый день собирала ведро голубики. Можно было собрать больше, но больше ведра я не могла три километра понести. По этой причине домашним я приносила ягод очень мало. По грибы тоже ходила одна – у меня не хватало силы бегать с деревенскими ребятами. Когда грибы и ягоды кончились, перестали давать и хлеб.

Мама летом 1942 года была очень слаба. На работу ходила редко. Она варила траву в кастрюльке на кирпичиках во дворе и ждала меня.

Когда мы заполняли силосные ямы травой, там часто попадались лягушки. Мама мне на шею повесила мешочек и туда я собирала лягушек. Мама потом снимала с них кожицу и варила. Мясо у них белое, как у курицы. Как-то купили у Рязановых собаку. Степан Рязанов болел туберкулезом, а собачий жир считался хорошим лекарством для легочников. Жиром лечился Степан, а собака досталась нам. У хозяйки купили не родившегося теленка, когда ее корова подохла от голода. Все это пошло на наш питательный рацион.

Летом мы перешли жить в домик Сани Родиной. Она сама жила у няни Нюры. Домик был без сеней, плита дымила и не грела, а на русскую печь нужно было очень много дров. До нас туда поселились Кривошапкины, но после смерти матери и Володи, они там остались вдвоем: Борис и наша ровесница Наташа. Кроме нашей семьи, в этот домик переселились Анна Гоба и Зелма Блыте. Мы надеялись, что теперь нам легче будет добыть топливо, чтобы не замерзнуть зимой. Зато летом в избушке было жарко. Места было очень мало, ночью нас съедали клопы, на дворе – комары и мошкара.

Пришла осень. Кривошапкины и Зелма Блыте пошли работать на лесозаготовки, хотя их одежда совсем не соответствовала климату. Тут в колхозе оставаться они тоже не могли, так как продавать было нечего, а прожить как-то надо. Анна Гоба ушла жить к нашим землякам Ранка. Это была у нас единственная пара, где муж и жена остались вместе. Зелма Блыте и Нина Лаздыня ушли на лесозаготовки. Обессиленные от голода, они, отдыхая, лежали на снегу. Зелма уже до того переболела воспалением легких, а теперь она застудила почки. Она тяжело заболела и 3 декабря 1942 года умерла. Похоронили ее в тайге, а в Латвии у нее осталась дочка Бригита.

По первому, еще не окрепшему льду, мама пошла в брошенную деревню Поноровку. Там летом росла колхозная турнепка. Зимой она мерзлая хранилась в амбаре.

Когда мама с мешком вернулась домой, мы затопили печку и положили в нее три турнепки. Вслед за мамой пришел председатель колхоза и кладовщик. Они очень ругались и сказали, что посадят маму в тюрьму. Мы с сестрой держали маму и в страхе кричали так, что начальство быстро забрали мешок и ушли. Остались нам всего три штучки, которые были в печке. Весь мамин труд пропал.

Когда на полях был убран урожай, случайно оставшиеся колоски или картофелины собирать на колхозном поле не разрешалось, это квалифицировалось как воровство. Весной, когда картошка была мерзлой, можно было ее собирать. Мы тогда на плите пекли черные лепешки, они казались такими вкусными. Нам ведь очень хотелось есть.

Выпал снег, наступили морозы. Спали мы вчетвером на одном дощатом узком топчане. У двоих головы в одну сторону, у двоих в другую. Накрывались всеми оставшимися одеялами. Стены избушки покрывались инеем, вода в ведре замерзала. Зашла к нам как-то соседка и сказала маме: - «Помрешь ты, Ивановна, и останутся твои детки сиротами». Мама от голода все сильнее распухала.

Теперь, спустя много лет, оставшиеся в живых мне рассказывали, что мама делила нам все поровну, а себе брала меньше. Она говорила, что братик развивается и ему нельзя давать меньше, хоть он и маленький. Пока мама могла, она делала все возможное и даже невозможное, чтобы спасти нас. Ее судьба была не легкой. С шести лет мама пасла свиней, она умела все сельские работы и была здоровой женщиной. Она умела и любила

работать. Если бы за эту работу, хоть что-нибудь платили, ей бы не пришлось своей жизнью заплатить за наши.

Председатель колхоза нас переселил в избу, где жила Вилма Милберга со своими девочками и осиротевшей Дагмарой Фрейвалд. Дагмарина мама умерла 8 января 1942 года. Вилма Милберга была женой писателя. Ее энергии, жизнерадостности и жизнеспособности можно было позавидовать. Она заманивала к себе деревенских собак и из их мяса варила детям бульон. Она каким-то неведомым способом умела доставать дрова и, благодаря ей, нам не угрожало замерзание.

Мама еще была жива, когда однажды вечером Вилма позвала меня с собой. Она обогнула вокруг себя пилу, а сверху застегнула фуфайку. Мы шли через спящую деревню. Вошли в детские ясли. Там на столах лежала лошадиная туша. При лунном свете мы начали отпиливать мясо. Вдруг слышим, что дверь со скрипом открывается. Мы замерли. Я буквально почувствовала, что сердце с испугу у меня куда-то проваливается. Но все было тихо. Это ветер нас напугал. С отпиленным куском мяса задами-огородами мы пошли домой. Дома мясо поделили пополам. В следующий раз она брала с собой Риту Карклиню. У них ведь тоже была большая семья. Когда пришло распоряжение начальства, куда девать лошадь, то ее просто уже не оказалось. Остались рожки да ножки.

Но мама была настолько слаба, что ее этот лошадиный бульон уже спасти не мог.

Помню один морозный вечер. Я шла от Кошелевых, которые мне одолжили пилу. За горизонт заходило солнце, красное-красное. Снег скрипел под ногами. Вдруг я поняла, что мама умирает и мы останемся одни. До того вечера я и в мыслях не допускала такую возможность. Я шла и плакала. Слезы замерзали на щеках.

Вечером мама нам сказала, что чувствует себя лучше. Мы все вместе порадовались этому. А утром следующего дня я проснулась от того, что у мамы началась агония. На улице было еще темно. Вилма затопила плиту и куда-то ушла. Избушка освещалась от топящейся плиты. Мама лежала на топчане, тяжело дышала и смотрела мне в глаза. Я и сегодня помню этот взгляд – будто она все понимает, но говорить уже нет смысла. Я кричала от горя, от растерянности, от бессилия. Братик лежал рядом с мамой. Я его посадила на печь к сестре.

Братика было два с половиной года, но он не ходил и не разговаривал. Но то, что он был живой – было великое чудо. В этот день сестренке было десять с половиной лет, а мне тринадцать с половиной.

Умершую маму я сама одела и по полу вытащила в сени. Там на скамейках была широкая доска, на которой двадцать дней назад лежала мама Дагмары. Теперь на доске лежала наша мама – холодная и безразличная к нам. Надо было ждать пока в мерзлой, как камень, земле выдолбят могилу.

Могилу копал колхозный кузнец Снегеров – светлый человек, отец пятерых детей. Могилу он вырыл на совесть глубокую и с нишей. В эту нишу он постелил солому. Мы с сестрой на санках отвезли нашу маму на кладбище. Снегеров маму уложил в нишу и прикрыл нишу доской, чтобы мерзлые комья земли не падали на маму...

Через пару недель в мамину могилу хоронили маму маленького Андрейки, умершего еще осенью 1941 года, Зинаиду Генгерис. Последнее время она была бездомной. За квартиру платить было нечем, и она ночевала, где придется, кто пожалеет и пустит ее. В ту ночь она ночевала у порога на полу у ссыльных из Черновиц. Как она на корточках сидела, так ее холодную уже утром нашли.

Из маминой могилы выбрали часть мерзлых комьев земли и уложили там Зинаиду. На ней были белые, теплые бурки. Хоронившие ее решили, что бурки Зинаиде больше не нужны и стали их с нее снимать. Когда они увидели, что с застывших ног бурки не снимаются, они их разрезали и сняли. Это было последнее, что можно было у нее отнять...

Мы с сестрой на кладбище шли с наивным желанием еще раз увидеть маму.

Когда нас весной увозили в детский дом, мы ходили прощаться с мамой. Земля под деревьями еще не совсем оттаяла, и вместо могилки было углубление. Наша мама

осталась там в той дальней глухой деревне, но я всю жизнь чувствую ее рядом с нами. Сорок шесть зим прошло с тех пор, но и теперь я часто плачу по ней. Я не плачу о нашей сиротской доле. Я плачу о доли матери, которая своей жизнью должна была заплатить за жизни своих детей.

Только когда я сама стала матерью, я поняла, каково смотреть на своих с голода умирающих детей. Каково матери умирать, не зная, что будет с детьми завтра...

Шли усиленные разговоры, что детей нового контингента в детские дома не посылают. Надеяться на окружающих нас людей было бы наивно, и не потому, что люди были плохими. Люди были как люди, но время-то было какое. Шла ожесточенная борьба за самосохранение, за выживание. Кто этого сам не пережил – тому это не понять. Можно об этом читать, можно слушать, но если сам не прошел через этот ад – понять, конечно, трудно. Наверно, не зря, когда мы теперь друг с другом встречаемся, нам кажется, что мы близкие родственники.

Наша мама была филолог по образованию, работала в школе. Когда нас стало трое, она работу в школе оставила, жила для семьи. Она умерла в неполных сорок два года. Но, несмотря на то, что ей пришлось нас оставить так рано, она сумела нас многому научить. Она была духовно богатым и сильным человеком. Я до сих пор живу ее советами, учу своих детей и внуков смотреть на мир глазами нашей мамы.

Мама нас не баловала, теперь детей больше балуют. Она считала, что из балованных детей не могут вырасти счастливые люди, что нужно уметь чувствовать себя счастливым. Бывают люди, которые это просто-напросто не умеют. Мама учила нас радоваться синему небу и травинке в поле. Отец учил, что главная ценность человеческой жизни – это знания и умение работать.

Наше довоенное детство кажется теплым и солнечным. Помню запахи нашего сада: запах земли, травы, глеющих листьев, запах тюльпанов. Помню цветущий каштан у нашего, отчего дома и пять берез. Помню, как за березами в тумане восходило солнышко. Я сознавала красоту, которая окружала нас и которая была сотворена трудом наших родителей. Хотелось миг восхода солнца запомнить на всю жизнь, и я его помню.

Помню, под каким деревом, какие цвели цветы. Под одной березой было кладбище птичек, а на крепких ветвях дуба отец нам сделал качели. К нам приходили соседские ребята, и мы играли в наши детские игры.

Мы рано остались без родителей, но мы имели представление о полноценной семье, мы знали что хорошо, что плохо. Что настоящая дружба и что предательство.

Наши родители никогда при нас не говорили плохо о соседях и знакомых, а если нас что-то в наших друзьях не нравилось, мама учила нас задать себе вопрос: "А ты сама какая? Лучше ли ты сама?" Она нас учила на успокаивать себя тем, что кто-то хуже тебя, а надо ровняться по лучшим.

Мне всю жизнь кажется, что наши родители где-то рядом с нами, что их любовь оберегает нас и указывает правильный путь в жизни.

После маминой смерти до весны мы жили одни. Нам кое-что из продуктов давал колхоз, это было больше, чем ничего. Я иногда падала духом, а наша соседка Вилма Милберга меня подбадривала, что нет такого слова «не могу» нужно очень хотеть и тогда ты все сможешь. Жизнь мне доказала справедливость ее слов.

Пока мы жили одни, до детского дома, мы ходили по домам – ждали милости от людей. Мы не просили, а стояли молча у порога и боялись, чтобы еще кто не стал рядом с тобой. Двоих чаще всего выгоняли. Помню дистрофиков. Руки и ноги у них были темной кожей обтянутые кости. Какие были мы с сестрой - не помню, помню нашего брата. После войны, когда показывали детей дистрофиков в фашистских концлагерях, я молча глотала слезы. Не могла я тогда никому говорить, что мой братик и многие другие были такими же, и это в своей стране... Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!

...Когда речка весной отчистилась ото льда, нас троих и Дагмару на лодке повезли в Средне - Васюганский детский дом. Было 30 апреля 1943 года. В детском доме готовились

праздновать 1-ое Мая. Мы помылись в бане, оделись в детдомовское платье. Начался новый этап в нашей жизни.

В детском доме мы были все одинаковые. О своих семьях мы друг другу не рассказывали. У нас все было общее, кроме воспоминаний. Те дети, которые помнили своих родителей, даже после пережитых трагедий, были богаче хотя бы тем, что у них были эти воспоминания. Привезенные из Тогурского дошкольного детского дома дети были даже ростом ниже своих сверстников. В детском доме мы никогда не были сытыми, но с голода умереть тут уже нельзя было. В детский коллектив мы вошли более-менее нормально. Мы умели себя защищать, хотя в начале иногда это приходилось доказывать в действии, но уже потом в моей характеристике было записано: «...пользуется авторитетом». Жизнь у нас была вольная, куда хотели, туда шли, чем хотели, тем и занимались. Долг воспитателей был следить за посещением школы, а это для нас проблемы не составляло. По школе мы соскучились за прошедшие годы. Книжки и тетради - это был праздник для нас. К обеду и ужину являлись все, не нужно было не часов, не гонгов. Желудочный сок подсказывал путь к столовой. Зимой о топливе заботились сами. Из лесу привозили бревна - наша задача была отхватить бревно потолще. Сердцевина всегда была сухой и шла на растопку. Пилили, кололи сами. Одеты мы были бедно, но не болели, за исключением первой зимы. Голод предыдущих лет давал себя знать. Особо плохо было сестре. Она всю зиму 1943/1944 года пролежала в изоляторе. Я жила в группе 4-го класса, много читала и часто дежурила на кухне. У меня болели ноги, и до школы я не могла пойти. Дежурство на кухне мне шли на пользу – дежурным всегда суп наливали гуще и давали добавку. Девочки меня поправляли, когда я говорила неправильно по-русски и следующий учебный год я уже свободно могла излагать мысли. Сестра тоже училась на «4» и «5».

Все было хорошо, кроме того, что мы ничего не знали о нашем братике. Так как в нашем детском доме не было группы дошкольников, его увезли в Тогурский детский дом. Там не было свободных мест и его оставили в Каргаске в больнице. Мы писали в больницу, но нам не отвечали. Мы не знали, жив ли наш братик.

В конце 1944 года я узнала, что фронт находится на территории Латвии, и я тут же написала бабушке письмо. Написала, что умерла мама, что о папе и братишке ничего не знаем. Мы стали получать из дома письма и деньги. Нашего старшего брата осенью 1944 года призвали в Красную Армию. Мы от него тоже получали письма, которыми очень гордились.

Многие латышские дети между собой говорили по-русски, и свой язык стали забывать.

В нашем детском доме из одиннадцати детей латышей семеро были маломуромцы. Это лишний раз доказывает, что с нашей деревней нам, прямо скажем, не повезло.

В мае 1946 года, как-то вечером, воспитательница нам сказала, что детей из Латвии повезут домой. Описать то, что мы чувствовали в этот момент, невозможно... Мы вели себя так, как будто с ума сошли от счастья. Это казалось невероятным, несмотря на то, что об этом мечтала и думала все время. Девочки из наших групп радовались вместе с нами.

Только Васюган отчистился ото льда, нас повезли в Томск. Пароход «Тара» был переполнен, но уговорить нас дождаться следующего рейса никому не удалось. Мы были готовы ехать хоть на трубе. В мешках у нас был хлеб. Нас было 13 человек. На каждый прием пищи нам давали буханку хлеба. Мне доверили буханку делить на тринадцать равных частей. Я очень старалась делить справедливо, потому что сама брала последний кусок.

На «Таре» мы доплыли до Каргаска. Там мы были три дня, должен был подойти другой пароход, который довезет нас до Томска. Используя свободные дни, мы решили отыскать братика. В первый день мы пошли в больницу. Там женщина во дворе колола дрова. Она нам подсказала обратиться к акушерке, которая с 1943 года работала в больнице. У нее мы узнали, что нашего братика усыновила бывшая попадьа и живет она в

старой части поселка, но ни адреса, ни фамилию подсказать нам она не могла. День кончался.

На следующий день, пасмурный и прохладный, мы с сестрой шли через пустырь и по пути узнали, что попадья переехала жить куда-то в район порта. Нам удалось узнать ее фамилию. Мы нашли избушку, в которой жил наш братик. Он нам открыл дверь. Он ходил и говорил, но нас не узнал. Зато мы его узнали сразу – он тогда был очень похож на сестренку, тем более что у нее были обстрижены волосы.

Пожилая женщина, бывшая попадья, не соглашалась с нами, что мальчик наш брат. Она была уверена, что он вывезен из блокадного Ленинграда. Доказательством послужил шрам от операции. Интересно, что трое нас старших все меченные – у нас заметные родимые пятна. Младший брат таковых не имел. Получилось так, что болезнь и ее последствия пригодились. Это судьба или Бог берег. Однако доказательство было.

Я пошла в здравотдел о брате, но со мной и разговаривать не стали. Я шла по деревянному тротуару в сторону порта и громко плакала. Люди спрашивали меня, в чем дело, и я всем рассказывала свою историю. А люди добрые давали советы и я, послушав их, пошла к прокурору. Прокурор велел на следующее утро вместе с приемной матерью брата придти к нему. Кончался второй день нашего пребывания в Каргаске. На следующий день прокурор работал до двенадцати часов, а пароход отходил в 15 часов.

Утром к десяти мы явились к прокурору. Он сказал, чтобы мы в отделе народного образования переоформили ребенка. Там же без письменного распоряжения отказались это делать. Я должна была вернуться в порт. Брат наш остался, а мы выехали в Томск.

Мы в большом долгу перед людьми, которые в голодный 1943 год взяли к себе чужого больного ребенка. Они выходили его и полюбили. Год назад я встретила женщин, которые в конце лета, тогда, будучи девчонками, ехали на одном пароходе с нашим братиком. Мы в то время были уже дома у бабушки. Нашего брата провожало много людей, они плакали. Среди провожающих был поп, и они братику дали с собой кулек с морковью. Но, наверное, именно морковью эти люди братика подняли на ноги.

Эту группу детей в сентябре привезли в Томск. Дети стали болеть скарлатиной. Одним из последних заболел наш брат. Группа уехала в Латвию в начале зимы, в Ригу она прибыла 23 декабря. Наш брат остался в Томске в детском доме. Весной 1947 года его привезла женщина, которая ехала в Ригу к мужу. Кто в Томске выполнил обещание переправить ребенка домой – я затрудняюсь сказать, директор детского дома или сотрудница Томского отдела народного образования Муравьева (или Муратова – точно не помню). Если не было бы этих добрых и отзывчивых людей, неизвестно, выжил ли бы наш брат. А если и выжил бы, то вырос и не знал бы свою фамилию, ни национальности, ни Родины. Вырос наш брат Айвис настоящим человеком, и дети у него стоящие.

Дома мы жили у родственников и друзей наших родителей. Старший брат в 1950 году демобилизовался, теперь он доктор экономических наук, сестра Инесе закончила академию художеств по текстилю, младший брат Айвис имеет среднее специальное образование и успешно занимается фотоискусством.

Я долгие годы проработала в конструкторском бюро. У наших родителей четверо детей, семь внуков и восемь правнуков пока, но, увы, этого они не знают...

Наш отец Волдемаре Шмулдере, сын лесника, единственный из шестерых детей получил высшее образование. Он в 1917 году кончил в Петрограде политехнический институт отделение кораблестроения. Он знал языки, был знающим инженером и принципиальным человеком с очень развитым чувством ответственности. По приговору «тройки» он был расстрелян, теперь посмертно реабилитирован.

Мама из шестидетной семьи безземельного крестьянина. Тоже единственная получила высшее образование. Она окончила филологический факультет Латвийского университета.

Отец наш прожил пятьдесят два года, мама – сорок два.

Мы не можем прийти на их могилы – могила отца неизвестна, а мамину сейчас не нашла бы. Единственное, что осталось – память. Именно потому я пишу о прожитом, хотя вспоминать о нем очень тяжело.

Люди должны знать правду о тех годах, чтобы это не могло никогда больше повториться.

Я часто думаю о тех людях, которые стреляли, уничтожали невинных людей бездумно и послушно, в том числе и детей. Они теперь старые, у них внуки и правнуки, и они гладят их головки своими руками, которые в крови.

Люди проснитесь, откройте глаза, вдумайтесь! Такое не должно повториться! Не допустим этого!